

Василий Брусянин

# Около барина



# Василий Васильевич Брусянин

## Около барина

### Серия «Ни живые – ни мёртвые»

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=9246358](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9246358)

#### Аннотация

«Раньше всех в доме вставали, обыкновенно, денщики Ткаченко и Звонарёв, рядовые ...ского кавалерийского полка. Помещались они в небольшой тёмной конурке, которая когда-то специально была устроена для прислуги. Нанимая квартиру, полковник Зверинцев поставил хозяину дома неременное условие, чтобы часть громадной кухни в три окна отделить дощатой перегородкой. Искусные плотники сделали перегородку, доходившую до потолка, прорубили в ней узкий продолговатый четырёхугольник и вставили в него раму с матовым стеклом. В этой полутёмной и узкой конурке стояли две железные койки, небольшой столик и сундуки, принадлежавшие денщикам. Тут же у стены, составленные друг на друга, стояли пустые господские корзины и чемоданы, а на стене висела маленькая детская ванна, в которой уже давно перестали купать полковнического сына, умершего года два тому назад...»

# Содержание

I	4
II	12
III	15
IV	21

# Василий Брусянин

## Около барина

### I

Раньше всех в доме вставали, обыкновенно, денщики Ткаченко и Звонарёв, рядовые ...ского кавалерийского полка. Помещались они в небольшой тёмной конурке, которая когда-то специально была устроена для прислуги. Нанимая квартиру, полковник Зверинцев поставил хозяину дома неперемное условие, чтобы часть громадной кухни в три окна отделить дощатой перегородкой. Искусные плотники сделали перегородку, доходившую до потолка, прорубили в ней узкий продолговатый четырёхугольник и вставили в него раму с матовым стеклом. В этой полутёмной и узкой конурке стояли две железные койки, небольшой столик и сундуки, принадлежавшие денщикам. Тут же у стены, составленные друг на друга, стояли пустые господские корзины и чемоданы, а на стене висела маленькая детская ванна, в которой уже давно перестали купать полковницкого сына, умершего года два тому назад.

Рядом, в кухне, за ситцевым пологом стояла кровать Федоры, кухарки за повара, бабы лет пятидесяти, рябой, ворчливой и своенравной. Между нею и денщиками возника-

ли постоянные недоразумения. Баба третировала солдат на каждом шагу, называла их «деревенщиной», а себя «благородной кухаркой» и изредка наговаривала на них барыне разные небылицы. А так как барыня любила кухарку, видимо, ценя в ней кулинарные способности, то солдаты не на шутку побаивались Федоры, покорно исполняли её приказания, по вечерам бегали в винную лавку за «мерзавчиками», а потом, когда кухарка опоражничала крошечные бутылочки, выслушивали её бесконечное ворчанье и даже обидную брань. Больше всего доставалось Ткаченко, так как ему чаще Звонарёва приходилось сталкиваться с ворчливой бабой.

Свои обязанности денщики выполняли по точному правилу разделения труда. Высокий, стройный и красивый Звонарёв жил в качестве лакея. Во время завтрака, вечернего чая и обеда он накрывал стол, подавал самовар или кушанья, бегал по звонку отпирать на подъезд дверь, по утрам убирал комнаты и вместе с тем исполнял разные поручения барина и барыни. Коренастый, сильный, но менее поворотливый Ткаченко считался «кухонным мужиком» и состоял при Федоре. На его обязанности лежала вся чёрная кухонная работа, которую он обязан был кончать по утрам или вечерам, когда спит отец полковника Зверинцева, отставной капитан Тихон Александрович.

Отставной капитан был старик шестидесяти семи лет. Крепко сложенный, плечистый, но лысый и седой, с худым морщинистым лицом, трясущимися руками, он десять лет

тому назад лишился ног, и с тех пор богатырский организм его борется со смертью. Его, лишившегося способности передвижения, усадили в кресло-коляску, приставили к нему неизменного слугу-денщика, и при этих условиях догорала бесполезная и никому не нужная жизнь. Больной, нервный и страшно раздражительный старик отравлял существование близких – сына и его жены, заедал жизнь чужих здоровых людей, которые покорно служили ему, и небо медлило разрешить эту задачу-недоразумение. В тайне друг от друга и от посторонних и сын и невестка просили небо ускорить своё решение; Ткаченко и Звонарёв, напротив, часто беседовали между собою на эту тему и ждали, скоро ли умрёт больной старый барин. Особенно Ткаченко интересовался этим вопросом. Он согласился бы удесятерить работу на кухне, взялся бы за какой угодно труд, лишь бы только не быть около больного барина, лишь бы только не нести этой каторжной жизни, от которой он уставал и душою и телом.

С восьми часов утра начиналась эта скучная, однообразная жизнь, и так весь день до позднего вечера. Иногда и ночью, заслыша звонок спросонья, он как сумасшедший срылся с койки, наскоро одевался и спешил в маленькую, душную и скучную комнату, где теплилась, не потухая, бессмысленная жизнь калеки...

Убравшись по кухне, стряхнув с мундира пыль и чисто начисто вымыв руки, Ткаченко уходил в свою полутёмную комнатку, усаживался на кровати и ждал, когда задремлет

звонок над его головою. В эти скучные минуты ожидания уже никто не смел беспокоить солдата или отвлекать его какой-нибудь работой, потому что опоздать на зов больного барина – значило подвести всех живущих в доме, не исключая и полковника с женою.

Заслышав звонок, Ткаченко бежал на зов, стараясь держаться на носках, так как по коридору ему приходилось проходить мимо спальни, где почивали полковник с полковницей.

Ежедневно и аккуратно около восьми часов утра Тихон Александрович просыпался; не поднимаясь с постели, протягивал свою худую, жёлтую, поросшую волосами руку к кнопке электрического звонка, и суровые, ещё заспанные глаза вперял в дверь. Беззвучно появляясь в комнате, Ткаченко подходил к постели барина, брал в руки графин с водою, которая запасалась, обыкновенно, с вечера, и, налив стакан, подавал барину. Пока капитан, верный своим привычкам, пил воду, Ткаченко должен был поднять на окнах шторы, слегка приотворить форточку и подкатить к постели громадное, тяжёлое кресло, утверждённое на крепких железных осях и на трёх колёсиках.

Выпив воду, капитан умывался при помощи денщика, утирал лицо, шею и руки грубым полотенцем, потом молился, размашисто крестясь и шепча молитвы, и одевался. После этого Ткаченко приподнимал с постели барина и усаживал его в кресло-коляску, закутывая ноги тёмно-коричневым

плюшевым пледом. Если капитан просыпался, что называется, в хорошем расположении духа – всё это проделывалось в глубоком молчании. Слышалось только тяжёлое и свистящее дыхание барина, да сопение Ткаченко. После же тяжёлых и неприятных сновидений или вследствие каких-либо других неблагоприятных и неведомых причин, капитан просыпался сердитым, – как бы скоро ни явился к нему Ткаченко, первой фразой его при виде солдата было:

– Осёл! Скотина!.. Звонишь, звонишь... Что ты там с курхарками всё да с горничными возишься? Или дрыхнешь?

Не признавая за собою вины, Ткаченко обижался на такое вступление, но, верный требованиям дисциплины, молчал. Иногда и Ткаченко просыпался, видимо, после неприятных сновидений или так почему-либо был раздражён, и тогда, выслушивая напрасные нападки барина, не в силах был сдержать накопившуюся злобу и сухо отвечал: «Никак нет».

– Что «никак нет»?.. Что?.. Молчать! – кричал барин. – Сбрось с меня одеяло! Да тише ты!.. Тише хватай своими лапищами-то, – ещё громче кричал капитан.

Ткаченко осторожно стаскивал с барина одеяло, стараясь не встречаться с его злыми глазами и отстраняя собственный нос от лица Тихона Александровича, так как изо рта калек-человека отвратительно пахло.

– Болван... «Никак нет», – ворчал между тем барин, вытягивая руки и стараясь продеть их в рукава сюртука. – Как сегодня на дворе? – уже другим тоном спрашивал капитан.



– Хмарно, ваше высокоблагородие.

– Холодно?

– Никак нет, ваше высокоблагородие.

Капитан усаживается в кресло, а Ткаченко подкатывает коляску к окну, причём колёсики немилосердно скрипят.

Благодаря этому скрипу, у Ткаченко была большая неприязнь в первый же день появления его у полковника Зверинцева в качестве постоянной прислуги. Немощный и раздражительный Тихон Александрович как больное дитя был донельзя капризен, щепетилен относительно своих привычек и до самозабвения выходил из себя, если что-нибудь делалось не так, как он любил. Капитану нравилось, что колёсики его подвижного кресла скрипят: это был каприз его больной души, схимницы больного тела. Ткаченко, напротив, не понравился скрип и визг колёсиков, и вечером первого же дня, уложивши барина спать, он отвинтил гайки и смазал оси салом. Делая это, он в тайне думал даже угодить барину, который по первому впечатлению показался ему сердитым, но вышло наоборот.

Утром, когда Ткаченко катил коляску с барином в столовую к завтраку, капитан заметил, что колёсики не скрипят, и что было мочи крикнул:

– Стой!.. Это что такое? Что это?..

Расширив недоумевающие глаза, Ткаченко взглянул на барина и испугался его позеленевшего лица и злых глаз.

– Что это? – спрашиваю я тебя... Отчего колёса перестали

скрипеть?

– Я... ваше высокоблагородие... салом их смазал... – робко ответил денщик, и лицо его потемнело.

– Мерзавец! Как ты смел? Кто тебе приказал? – неистово кричал капитан, даже приподнявшись в кресле на руки.

На крик из столовой прибежали полковник с полковницей.

– Папа! Бог с тобой, успокойся! Тебе вредно, – успокаивая отца, говорил полковник.

– Успокойтесь, Тихон Александрович, вам вредно, – вторила полковница.

– Как он смел? Кто ему приказал? – не унимался капитан.

– Кто тебе приказал сделать это? Болван! – набросился на Ткаченко и полковник и сильно ткнул кулаком в солдатскую грудь.

Растерявшийся солдат подался назад от неожиданного толчка и со слезами на глазах посматривал то на полковника, то на капитана. Всё время завтрака господа ворчали на денщика, который стоял около двери.

Когда завтрак был кончен, Ткаченко перевёз барина в его комнату. Тихон Александрович всё время косился на денщика и нервничал. Когда Ткаченко поставил коляску около окна и вернулся к двери, чтобы притворить её, капитан громко крикнул:

– Поди сюда!

Ткаченко вытянулся перед капитаном и стоял, глядя на

него всё ещё испуганными глазами.

– Подойди сюда ближе!

Ткаченко подошёл.

– Наклонись, болван.

Ткаченко наклонился.

– Вот тебе! Вот! – и капитан два раза с размаху ударил денщика по щеке и добавил. – Вперёд помни и не делай того, чего тебе не приказывают! Пошёл!

Ткаченко выпрямился, повернулся налево кругом и вышел из комнаты. На глазах его сверкали слёзы обиды. После этого случая Ткаченко овладевал какой-то панический ужас при виде капитана. Слушая его брань, он каждую секунду ждал новых пощёчин и старался предупредить его малейшие желания. Больше он стал бояться и полковника с женою. Кажалось, из солдата разом выбили самолюбие и чувство человеческого достоинства. Он стал рабом послушным и покорным, не рассуждающим, робко лепечущим странные односложные фразы: «никак нет» и «так точно». Кроме этих ответов, от него требовали ещё рабьей покорности и исполнительности, и Ткаченко безропотно исполнял бесчисленные и разнообразные приказания.

## II

В первом часу у полковника Зверинцева завтракали. К этому времени в большой квадратной комнате с тёмными обоями и с двумя широкими окнами, выходившими в палисадник, появлялся Звонарёв. Он расставлял по столу приборы, гремел вилками и ножами и хлопал дверцами дубового буфета. На лязг ножей и вилок и на стук тарелок в столовой первым отзывался капитан и принимался торопить денщика. Долго ожидая прихода к столу сына и невестки, он начинал раздражаться, стучал ножом по тарелке и громко выражал своё неудовольствие. Ел он страшно много и с каким-то животным увлечением; лицо его надувалось и краснело, глаза с хищным выражением перебегали по столу с предмета на предмет.

В конце завтрака по звонку в столовую вызывался Ткаченко. В это время Тихон Александрович, обыкновенно, пережёвывал последний кусок бифштекса, облизывал языком губы и утирал их салфеткой. Ткаченко должен был снять с шеи барина салфетку, стряхнуть крошки хлеба с сюртука и с пледа, а потом барыня вручала ему чашку кофе, которую тот должен был отнести в комнату капитана, так как кофе старик любил пить у себя.

После завтрака Тихон Александрович любил сидеть у окна с газетою в руках. Ткаченко должен был знать все при-

вычки барина, а потому, как только тот кончал пить кофе, он вручал ему туго набитую табаком трубку с длинным чубуком. Пока Тихон Александрович читал и курил, Ткаченко должен был находиться тут же, у двери. Потухнет трубка барина – Ткаченко должен тотчас же зажечь её, отойти к двери и снова ждать приказаний.

Тихон Александрович выкуривал две трубки в день – утром и вечером – и каждый раз денщик должен был выставить у двери в ожидании потребности в спичке. Из всего своего скучного и однообразного дня больше всего Ткаченко не любил этого времени. Ему приходилось стоять у двери навытяжку и бессмысленно переводить глаза с барина на окно, с окна опять на барина. Иногда он пристально всматривался в какие-то непонятные ему картины, висевшие на стене, размышлял о том, что должно изображать нарисованное, и скоро ещё больше уставал за этим занятием.

Иногда Тихон Александрович, видимо, утомившись при чтении, опустит на колено трясущуюся руку с газетой, отклонит немного голову назад и уставится глазами в окно, и тихо и долго сидит так. В комнате слышится почихивание трубки, да тяжёлое дыхание денщика.

– Ткаченко, – кричит барин и отбрасывает газету в сторону.

Денщик уже знает, что значит этот окрик, и спешно примется собирать барина на прогулку. Выбравшись на подъезд, Ткаченко тихо и плавно спустит коляску с трёх ступеней

крыльца, поправит плед, окутывающий ноги барина, и пока-тит коляску к воротам.

Ворота и главный фасад дома, где жил Тихон Александрович, выходили на бульвар, окаймлённый старыми липами и ясенем в два ряда. Между рядами деревьев проложена широкая, выложенная булыжником, мостовая. В продолжение дня Ткаченко обыкновенно раза три прокатывает коляску по бульвару от одного конца до другого. Иногда барин и солдат останавливаются около какой-нибудь лавочки или в тени деревьев, отдыхают, наблюдают пешеходов.

Гулять по бульвару с барином Ткаченко предпочитал скучному томлению в душевной комнате, в которой, – казалось солдатику, – пахло мертвечиной от омертвелых ног барина. Днём на бульваре было шумно. По мостовой взад и вперёд мчались экипажи, по панелям сновали пешеходы. Почти целый день на бульваре толпились шумные и весёлые дети в сопровождении нянек и барынь в тёмненьких платьях и в скромных шляпках. Направо и налево тянулись два ряда деревьев, а прямо, за узкой и грязной канавой, открывался вид на городской питомник, засаженный густо разросшими-ся высокими и тонкими клёнами, берёзами и липками. Эта чаща дерев напоминала Ткаченко небольшие перелески на их родимой и далёкой Украине, отчего он и любил подолгу засматриваться в зеленеющую чащу питомника.

### III

Любимым местом их прогулки был также большой тенистый сквер, разбитый вокруг церкви с высокой белой колокольней. Посещать этот сад Ткаченко любил ещё больше, нежели бульвар.

Широкие и глухие дорожки сквера были разбиты причудливым узором, часто пересекаясь одна с другою, или излучиваясь змеёю, или неожиданно превращаясь в полукруг. По сторонам дорожек растут громадные берёзы, вязы и клёны. Крепкие частые сучья деревьев переплетаются над головою, густая зелень листвы прячет от глаз голубое небо. В солнечные дни на дорожки падают блестящие и яркие просветы; в скучные часы хмурого дня под навесом деревьев полумрак.

Подкатив коляску с барином к громадным чугунным воротам сквера, Ткаченко останавливается. Тихон Александрович снимает с головы форменную офицерскую фуражку с красным околышем и начинает креститься, повернув лицо направо, к церкви; Ткаченко также крестится.

Денщику было вменено в обязанность возить барина в саду быстрее, потому что Тихону Александровичу нравилась быстрая езда; морщины на его лице разглаживались, когда мимо мелькали деревья, люди, и когда от быстрой езды захватывало дух. Ткаченко, напротив, не любил быстрой езды, потому что скоро нагревался, потел и уставал, запыхавшись.

На встречу на дорожках сквера часто попадались прохожие, и те из них, которые не в первый раз встречали «военного барина» в колясочке и здорового солдата, – те как-то не обращали внимания на капитана, напротив, новички, видя в этой прогулке что-то необычное, останавливались и с соболезнованием на лице рассматривали больного, что капитану страшно не нравилось. Миновав такого нескромно любопытствующего, он про себя ворчал:

– Что глаза-то выпучили? Экая невидаль! Дур-раки!

Однажды как-то он даже вслух выругал одну бабу, которая несла на плече какую-то громадную бутылку с тёмной жидкостью и, увидя человека-калеку, остановилась, опустила на землю свою ношу и с тревожным выражением в глазах и даже с печалью на лице повернулась к барину.

– Ну, что смотришь-то? Что тебе надо? Дура!.. – не выдержал и выругался капитан.

Баба с изумлением посмотрела на барина и поспешила уйти.

– Стой тут! – командует Тихон Александрович. – Дай газету!

Денщик достаёт из-за спины барина газету. Старик принимается читать.

Раз как-то в сквере разыгралась пренеприятная история. Это было на последних днях Пасхи. После полудня солнце высоко стояло в небе, чистом и прозрачном, голубом и глубоким. В кустах чирикали птички. На высокой колокольне



храма заливались колокола.

Ткаченко катил колясочку по крайней аллее, отделённой от улицы высокой чугунной решёткой, за которой были проложены рельсы конки. Вдали на аллее показалась какая-то «парочка», как голубки воркующая на солнечном припёке. Когда парочка придвинулась ближе, Ткаченко рассмотрел высокого и стройного солдата, в лакированных сапогах и в новом мундире, поверх которого была наброшена на плечи солдатская форменная шинель. Солдат шёл под руку с темноволосой смазливой девушкой, в светлой шляпке на высокой причёске и в коротком тёмно-синем жакете, облежавшем её тонкую стройную талию. Опираясь на руку кавалера, девушка засматривала в его красивые тёмные глаза и улыбалась ясной и счастливой улыбкой; кавалер тихо говорил что-то, по-видимому, нежное, и влюблённые не замечали, что делается вокруг.

– Стой! Солдат! Стой!.. – вдруг крикнул капитан.

Ткаченко, думая, что окрик относится к нему, разом остановился.

– Поди сюда!.. Эй ты!.. – продолжал капитан, съедая злобными глазами солдата с барышней.

Солдат немного смутился, выпустил руку девушки, передал ей зонтик, которым до того беспечно помахивал в воздухе и, делая под козырёк, подошёл к барину.

– Ты что же это офицеру честь не отдаёшь?

– Виноват, ваше высокоблагородие...

– Кто ты такой?

– Старший писарь главного штаба, ваше высокоблагородие.

– Что ж, что писарь! Тебе и честь не надо отдавать?

– Никак нет!

– Надел лакированные-то сапоги... франт! П-шёл!..

Писарь повернулся налево кругом и поспешил к своей даме. Во время этой сцены девушка стояла смущённая; с опечаленным лицом встретила она своего кавалера и что-то проговорила ему.

Ткаченко язвительно улыбнулся в сторону писаря: ему понравилось, что барин пробрал «франта», хотя в то же время он подумал: «Вот-то собака!»

После всяких неприятных сцен и встреч Тихон Александрович обыкновенно углублялся в чтение. В этот раз он также спросил у Ткаченко газету.

– Подвези вон к той лавочке, где солнышко светит, – командовал он, указывая вперёд на скамью, залитую лучами солнца.

Поставив коляску так, чтобы тень от головы барина падала на газету, Ткаченко немного отошёл в сторону и уселся на конце скамьи. В саду Тихон Александрович становился как будто добрее и позволял денщику сидеть в своём присутствии, чем тот, разумеется, с радостью пользовался. Он любил сидеть в саду, хотя и вблизи барина: здесь дышалось привольней и чувствовалось свободней. Пока барин, углу-

бывшийся в газету, забывал о его существовании, он предавался своим думам, или рассматривал прохожих, или подолгу сидел с приподнятым лицом и смотрел в небо. Если по небу тянулись облака – он следил за их движением, если оно было ясно и безоблачно, думал: как далеко оно!.. Иногда он опустит усталую голову и, мельком скользнув взглядом по барину, повернёт глаза в ту сторону, – где – по его предположению – должна быть далёкая родная Украина.

Года два тому назад, шагая с котомкой за плечами в толпе молодых солдат, он был поглощён новыми чувствами и представлениями. Когда шли до манежа, где разбивают по полкам вновь прибывших рекрутов, – играла музыка, широкая улица, залитая электричеством, гроыхала экипажами, в воздухе стоял гул, окрики извозчиков, звонки конок... На душе у него было весело, глаза дивились невиданной роскоши улицы – и в эти минуты как-то забылась родина. Но прошло время – и злая тоска, в первый же вечер, в новой обстановке казарм, охватила душу. А потом опять ударит по нервам шумная жизнь столицы, прорвётся сладкая минутка забвения – и снова тихое раздумье, воспоминания и прежняя тягучая тоска. Казарменная жизнь, постоянная работа, уход за лошадьё, гимнастика, ученье, занятия с «дядькой», эти четыре месяца после приезда в столицу – целая вечность! Это время, казалось, отделило Ткаченко от родины, вывернуло его душу, поработило его и без того слабый ум, сделав его робким и послушным и словно запутав его какими-то

невидимыми нитями... Прежним осталась только одна тоска по родине. Часто-часто тревожат память солдатика воспоминания родины, сидит ли он в своей конурке и ждёт призывного звонка барина, катит ли коляску по бульвару, стоит ли в его комнате у порога, сидит ли в саду и смотрит на небо... Иногда душу Ткаченко охватывает какая-то непримиримая ненависть к этому больному человеку, и он тогда считает его самым главным злом, создавшим ему скучную и однообразную жизнь... И тогда Ткаченко искренно и глубоко желает этому человеку смерти. Ноги его умерли, пусть же умрут и эти трясущиеся, беспомощные руки, пусть поникнет эта седая лысая голова, сомкнутся сердитые глаза и замрёт в груди злое «косматое» сердце!..

– Ткаченко! Поверни коляску – солнце мешает!.. – оторвёт Ткаченко от размышления окрик барина, и он, мгновенно спугнув свои греховные думы, бросится исполнять приказания, потом отойдёт и снова сядет на прежнее место.

Думы его примут другое направление. Осмотрится он по сторонам и рад: душу не тревожат воспоминания о родине, и злоба на барина улеглась. Светит яркое тёплое солнышко; в небе ясно-ясно... в саду тихо-тихо...

## IV

Когда наступала хмурая, туманная осень, Тихон Александрович становился положительно невыносим. Перемена погоды влияла на его ослабшие мышцы и больные нервы, без того плохое равновесие духа нарушалось окончательно, и он целыми днями капризничал как ребёнок, придирался к домашним и бранился, проклиная и окружающих, и себя, и свою жизнь. Чаще других с ним был Ткаченко, и ему одному приходилось переносить всю тяжесть барских капризов и брани.

Расстроенный и больной капитан плохо спал по ночам, заставляя солдата дежурить у дверей целыми ночами. То приказывал он поправлять ноги и закутывать их в плед, а потом вдруг принимался жаловаться на жару и бранить денщика, зачем он так натопил печь; из открытой форточки дуло, и из-за этого выходили недоразумения; вода, которую Ткаченко подавал барину пить, казалась то холодной, то уж очень тёплой. В эти дни отношения капитана к сыну и невестке также изменялись. Придравшись к какому-нибудь незначительному случаю за обедом или за завтраком, капитан вступал с домашними в спор, и если кто-нибудь с ним не соглашался, или если Тихону Александровичу начинало казаться, что с ним не соглашаются, он выходил из себя, бранился и, наконец, бросив на стол ложку, приказывал Ткаченко везти

себя в свою комнату. Сын и невестка принимались уговаривать старика, но это, обыкновенно, ни к чему не вело; напротив, он ещё больше раздражался, и злоба долго не оставляла его. Удалившись к себе, капитан продолжал ворчать, а потом приказывал денщику принести бумаги и чернил и принимался писать сыну письмо, переполняя своё послание обидными упрёками. В таких случаях ему всегда казалось, что сын и невестка ждут его смерти, и за это он проклинал их, называя извергами рода человеческого. Денщик уносил письмо, а старик сидел и ждал ответа. Иногда полковник лично являлся к отцу и принимался его уговаривать, но чаще старик получал длинное ответное послание и, углубившись в чтение, всегда успокаивался уверениями в неизменном почтении и преданности, какие питают к нему сын и невестка.

Под конец дня, когда небо потемнеет, сад окутается мглою, и в окна комнаты заглянет сумрак ненастного вечера, — на душе капитана также потемнеет, и опять начнутся прежние капризы, часто продолжающиеся всю ночь.

Как-то раз в продолжение нескольких дней стояли непрерывные холода, почти не переставая шёл дождь, хмурилось небо, дул резкий ветер. Иногда по городу разносились гулкие и тревожные пушечные выстрелы, возвещавшие наводнение. После одной такой ночи погода разом изменилась.

Вошёл утром Ткаченко в комнату барина, и она показалась ему не такой тёмной и неприглядной как за все предыдущие дни: сквозь опущенные шторы на подоконнике, на по-

лу и на углу стола лежали яркие полосы света, и Тихон Александрович встретил денщика в хорошем расположении духа. Против обыкновения, прежде, чем выпить стакан воды, капитан приказал денщику поднять шторы, и когда приказание было исполнено – полосы света стали ещё ярче, и в отдалённых углах комнаты просветлело.

– Сегодня солнышко? – добродушным тоном спросил Тихон Александрович.

– Так точно, ваше высокоблагородие, тепло на дворе, – ответил денщик, чуткий к такой перемене тона.

– И ветру нет?

– Так точно, ваше высокоблагородие.

– И дождя нет?

– Так точно, ваше высокоблагородие, и дождя нет.

Капитан молча оделся, умылся и за завтраком вёл себя так, как давно не случалось. Весело рассказал он содержание сна, который приснился ему минувшей ночью; полковница, в свою очередь, поведала, что приснилось ей, и утреннее свидание с домашними прошло весело, и только в конце завтрака вышло небольшое недоразумение. Утирая салфеткой губы после жирного бифштекса, Тихон Александрович сообщил, что намерен отправиться на прогулку, а полковник уговаривал его не делать этого, так как за последние дни всё время у Тихона Александровича была повышенная температура. Капитан, однако, настоял на своём.

Проехав по бульвару обычное расстояние, Тихон Алек-

сандрович и Ткаченко повернули направо в переулок, направляясь к тёмным воротам сквера.

Залитый яркими лучами солнца сад в осеннем убранстве отливал золотом и изумрудом. Берёзы, вязы и клёны с жёлтыми прозрачными листьями стояли как заколдованные, не шелохнув веткой, и только иногда, сами собою оторвавшиеся падали на землю поблекшие листочки. Тихон Александрович несколько раз перекрестился при въезде в ворота, и, когда коляска очутилась на аллее, приказал денщику ехать скорее. Над их головами мелькала жёлтая прозрачная листва, на дорожке сада лежали солнечные пятна, и по сторонам, сбитые ветром, были разбросаны опавшие листья.

Прокатив коляску вдоль длинной аллеи, Ткаченко повернул направо на узенькую дорожку и выехал на площадку с цветником посередине. Тихон Александрович приказал остановиться около лавочки и с какой-то детской улыбкой посмотрел на поблекшие цветы. Тёмно-красные, ярко-жёлтые и светло-сиреневые стояли они с поникшими головками, словно ослабев за все эти дни бурь и непогоды. Цветы, площадки, дорожки, Тихона Александровича и Ткаченко заливало яркими лучами солнышка, и точно всё в природе говорило: последний день тепла и света, а потом наступит ненастье, холод и суровая зима покроет и дорожки и цветник белым саваном.

Тихон Александрович осмотрел цветник и тихо произнёс: – Ткаченко, сорви вон тот яркий жёлтый цветок.



Зная, что цветы в саду рвать воспрещается, Ткаченко медлил исполнить приказание барина. Заметив замешательство денщика, Тихон Александрович повторил:

– Сорви, всё равно, они скоро все погибнут...

Ткаченко исполнил приказание.

Тихон Александрович поднёс к лицу георгин и понюхал. Большой жёлтый цветок, лишённый запаха, только оросил его седые усы и бледные губы...

Капитан, внимательно рассмотрев цветок, перевёл глаза на цветник, как бы отыскивая что-то, но потом опустил глаза, видимо, удовольствовавшись тем, что имел.

Ткаченко сидел на лавке и радовался – и тихому дню, и яркому солнышку, радовался также и тому, что барин сегодня такой добрый. Старик, действительно, редко бывал таким. Покапризничав за последние дни, сегодня он был спокоен с утра, как будто тёплое солнышко воздействовало на него так примирительно. Природа точно умышленно настроила его так, чтобы проститься с ним, согреть его душу и успокоить сердце. Это был последний радостный день в жизни старика...

Пока Ткаченко катил до дому коляску, Тихон Александрович рассматривал лепестки цветка, сорванного в саду, и о чём-то думал, сосредоточенно и угрюмо. Дума эта не оставляла его и тогда, когда он приказывал денщику налить в стакан воду и опустить в него поблекший цветок: это был последний дар природы...

С вечера капитан снова захандрил, жалуясь на головную боль и на лихорадку. Полковник посмотрел пульс и, убедившись, что у отца жар, покачал головою, и, после непродолжительного совещания с женою, решил дать ему хины.

– Вот, отец, я говорил тебе – не надо бы выходить сегодня, у тебя все эти дни была лихорадка, – высказал своё неудовольствие полковник.

Отец ни звуком не ответил на это замечание.

\* \* \*

Тихон Александрович лежал в постели с высоко приподнятою на подушках головою и тяжело дышал; с каждым часом ему становилось хуже. Часов в десять вечера был доктор. Молодого человека встревожила сильная лихорадка больного и его жалобы на боль в боку, но он не высказал своего предположения и уехал.

В эту первую ночь болезни капитана почти никто в доме Зверинцева не спал. Больной бредил и метался по постели, когда сознание оставляло его, в короткие же промежутки, приходя в себя, капитан снова становился прежним капризным ребёнком.

На следующий день наступило некоторое улучшение. Ткаченко перенёс его с постели в коляску и даже вручил газету, но капитан не мог читать: силы оставили его, и денщик опять перенёс больного в постель. К вечеру капитан лишился речи

и сознания и лежал в постели беспомощным и жалким...

В момент смерти капитана в комнате никого, кроме Ткаченко, не было. В первом часу ночи полковник и полковница, усталые от бессонной ночи и утомлённые тревогой, ушли к себе, приказав Ткаченко разбудить их, если с больным будет хуже. Ткаченко остался в комнате, еле держась на ногах от усталости. Осторожно взял он от окна стул, переставил его к двери возле печи и уселся, с лукавством в глазах посмотрев в сторону больного, который чуть слышно дышал и по временам стонал.

Небольшая лампочка под зелёным абажуром озаряла комнату как-то вполовину. Освещены были пол, стол, стулья, кровать с больным и окна до половины, на потолке над лампой отражалось светлое пятно. Ткаченко долго смотрел на это пятно, позёвывая и потирая пальцами утомлённые глаза. Иногда он останавливал взгляд на больном; из-за угла подушки ему видны были лысый череп, строгий профиль с оттопыренными усами, сложенные на груди руки и согнутые в коленях ноги. Какое-то странное отношение было у него теперь к барину. Он знал, что барин, лишённый речи, не будет его звать, не сможет крикнуть на него, и он не услышит за всю эту ночь обидной брани; Ткаченко не сомневается также, что руками, беспомощно сложенными на груди, барин не будет его бить по щекам. И Ткаченко смело сидит на стуле, прислушиваясь к звукам ночи. На камине негромко постукивают часики, в саду расходившаяся непогода шумит лист-

вою дерев, в окна стучит дождь... И вдруг что-то мощное вторгается в хор голосов ночи: воздух потрясают три глухих пушечных удара... Наводнение... В темноте ночи носится что-то вешее и грозное...

Как-то жутко вдруг становится Ткаченко, одинокому, в этой полутёмной душной комнате, вблизи человека, который ежедневно отравлял его жизнь. Теперь он бессилён, теперь он недвижим и молчалив, и бывают минуты, когда Ткаченко забывает о нём. Что для него эта догорающая жизнь? Он думает о своей жизни и о своём будущем. Прошлое также тревожит его память. Мысли невольно уносятся к далёкому родному югу. Ткаченко закрыл глаза и прислонился к спинке стула... Вспоминается ему белая двухоконная хатка с голубенькими ставнями, вокруг хатки – двор, обнесённый ча-стоколом, дальше огород и сад с громадным приземистым тополем, на вершине которого темнеет гнездо аиста... а ещё дальше – поля и луга, лески и холмы...

Ткаченко заснул и не видел, в каких страшных мучениях догорела жизнь Тихона Александровича.

Дня через два, после обеда, капитана Зверинцева хоронили. Когда солдаты-кавалеристы выносили из квартиры гроб с останками покойного, Ткаченко помогал им. Гроб поставили под тёмный катафалк на громадных дрогах, в которые были впряжены две пары лошадей в тёмных пополах. День был пасмурный, моросил дождь... Вдоль бульвара лошади шли медленно. Оголённые деревья шумели ветками, сбрасывая

последние пожелтевшие листья. Катафалк слегка вздрагивал на неровностях мостовой, четыре тяжёлых колеса медленно вертелись без шума, без скрипа...

Ткаченко стоял у ворот и смотрел в сторону погребальной процессии. Когда за углом сквера скрылся тёмный верх катафалка, он повернулся и вошёл в подъезд. «Вечером отпрошусь у полковника в эскадрон... земляков повидать»... — подумал он.